
НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИЛЛЮЗИЙ
Александр Сильвер
18+

Александр Сильвер
Не время для иллюзий

https://litres.ru/74878723
SelfPub; 2026

Аннотация

Она — успешный психолог, разучившаяся доверять мужчинам после предательства. Он — фельдшер скорой, привыкший спасать других, но не себя. Их встреча должна была стать просто случайным романом.

Но в кабинет Анны приходит клиентка, чья исповедь грозит разрушить не только профессиональную репутацию, но и хрупкое личное счастье. Чтобы разобраться в чужой боли и сохранить любовь, Анне придется заглянуть в собственное прошлое. И понять, что настоящая близость начинается там, где заканчиваются иллюзии.

Александр Сильвер
Не время для иллюзий

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИЛЛЮЗИЙ

Роман

Иллюзия — это не когда ты веришь в то, чего нет. Это когда ты веришь в то, во что верить удобно.

ПРОЛОГ

Утро началось с того, что он не нашёл носки.

— Ой, душа моя! — раздалось из спальни, и голос у него был такой трагический, будто речь шла о конце света. — У меня носки пропали.

— Они в нижнем ящике, — отозвалась я, не отрываясь от кофеварки. — Я вчера их туда переложила. Ты сказал, что у тебя там «творческий беспорядок», а я не выдержала.

— А, точно. — Пауза. — А почему тогда их тут нет?

Я улыбнулась в чашку. Стояла на кухне, в его старой футболке, босиком на холодном полу, и улыбалась, как дура. За окном моросил февраль, кофеварка тихо шипела, а в моей спальне мужчина искал носки, которые сам же вчера куда-то забросил.

Обычное утро. Наше утро.

И пока он там шуршал, я вдруг вспомнила ночь. Как его рука скользила по моей спине — медленно, будто он читал меня, как книгу, которую боялся пролистать слишком быстро. Как он дышал мне в шею, и это дыхание было громче всех моих мыслей. Как я кусала его плечо, чтобы не застонать в голос, а он смеялся тихо, почти беззвучно, и от этого смеха у меня внутри всё переворачивалось. Я вспомнила вкус его кожи — солёный, тёплый, с запахом мыла и чего-то ещё, только его. И то, как утром он спал, положив руку мне на живот, и я боялась шевельнуться, чтобы не разбудить.

Но дело было даже не в том, что он лежал рядом. Я вдруг поймала себя на странном ощущении: мне не хотелось проверять, насколько надолго он останется. Не хотелось искать скрытый смысл в каждом слове, анализировать интонации и заранее готовиться к разочарованию. Я просто лежала рядом с ним и чувствовала себя женщиной, которой хорошо. Без оговорок, без необходимости заслуживать это ощущение.

Странно, как быстро привыкаешь к счастью. Ещё год назад я бы сказала, что всё это — не про меня. Что такое утро бывает только в кино, где женщина с идеальной причёской жарит бекон под музыку Вивальди. У меня причёски не было, бекон я не жарила — я вообще не готовила по утрам, потому что успешная женщина в сорок два года имеет право на кофе и тишину. На столе валялись вчерашние газеты, которые я так и не выбросила, и его кроссовки в прихожей — там, где он их оставил, хотя я просила убирать.

Он вышел на кухню — растрёпанный, в футболке наизнанку, с носками в руках. Победитель.

— Нашёл, — сообщил он гордо. — Под кроватью. Ты не поверишь, но там был целый носочный склад.

— Это ты меня упрекаешь?

— Я тебя обожаю, — поправил он и чмокнул меня в макушку, потянувшись за кофе.

На спинке стула висела его куртка — та самая, тёмно-серая, с потёртым воротником. Я смотрела на неё и почему-то думала о том, что год назад её здесь не было. И меня такой здесь не было. И всего этого — не было.

И тут ни с того ни с сего я вспомнила маму. Как она любила такие вот утра — с кофе, с газетами, с чужими кроссовками в прихожей. Как говорила, что счастье — это когда есть кому искать носки. Я тогда смеялась. А теперь стояла и понимала, что мамы уже нет. И что она никогда не увидит это утро. И этого мужчину. И меня — такую. Мне захотелось рассказать ей, что я наконец-то перестала бояться некоторых вещей. Что рядом со мной человек, которому не нужно объяснять, почему иногда я замолкаю или почему мне бывает трудно попросить о чём-то простом. Что я больше не пытаюсь казаться женщиной, у которой всё под контролем. Мама, наверное, обрадовалась бы. А может, просто посмотрела бы на меня своей понимающей улыбкой и сказала что-нибудь совершенно обычное.

В носу защипало. Я отвернулась к окну — не хотела, что-

бы он видел.

Телефоны лежали рядом на столе. Мой — экраном вверх, его — экраном вниз, как он всегда клал. В какой-то момент его телефон завибрировал. Он даже не повернул головы — просто протянул руку и сбросил звонок, не глядя на экран.

— Кто это? — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал непринуждённо.

— Да так. — Он пожал плечами. — Рабочее. Перезвоню.

Я знала, кто это. Точнее, догадывалась. Но в то утро мне не хотелось об этом думать. Я слишком хорошо знала, как легко одно тревожное предположение способно испортить даже самый хороший день. Можно начать задавать вопросы, искать подтверждения, вслушиваться в каждую интонацию — и незаметно для себя превратить близкого человека в подозреваемого. Я не хотела этого. По крайней мере, сегодня. Сегодня мне хотелось просто пить кофе, смотреть, как он ест бутерброд, и верить, что у нас всё хорошо.

— Ты не жалеешь? — спросила я вдруг.

Он поднял глаза. Посмотрел на меня долго, без улыбки, как умел только он — так, что становилось видно всё, что он прятал.

— Жалею только о том, — сказал он тихо, — что не встретил тебя раньше.

И вернулся к бутерброду. А я замерла с чашкой в руках, и внутри у меня что-то сжималось — не от боли, а от того, что я понимала: это правда. Всё правда. И то, что он здесь.

И то, что он ищет носки. И то, что куртка на стуле.

Если бы я тогда знала, чем всё это закончится — я бы всё равно пошла. Просто шла бы смелее.

Но год назад я сидела в другом кабинете, с другой чашкой, и была уверена, что всё это — не для меня. Что любовь после сорока — это либо от отчаяния, либо от скуки. Что взрослые люди не ищут счастья — они ищут покой. Что я — успешная, самодостаточная, состоявшаяся — вообще не нуждаюсь в том, чтобы кто-то искал при мне носки.

Я ошибалась. Во всём.

Только чтобы понять это, мне пришлось сначала потерять всё, что я считала собой.

ГЛАВА 1. «Годом ранее»

Анна

Меня зовут Анна. Мне сорок два года, и я — психолог. Это не значит, что я умею решать чужие проблемы лучше, чем свои. Это значит, что я умею делать вид, что умею.

В понедельник утром мой кабинет пахнет кофе и чужими надеждами. Я прихожу за полчаса до первой клиентки, включаю лампу, проверяю, ровно ли стоят кресла. Кто-то скажет — педантизм. Я скажу — ритуал. Кресла должны стоять ровно, потому что всё остальное в этой жизни стоит криво.

Первая клиентка — Ольга, сорок пять, замужем двадцать

лет. Она садится в кресло, поправляет юбку и говорит:

— Я устала быть удобной.

Я делаю пометку в блокноте. Не потому, что это открытие, — я слышала эту фразу сотни раз, в разных вариациях. Просто это хорошая фраза. Точная.

— Расскажите, что это значит для вас, — говорю я. — «Быть удобной».

И Ольга рассказывает. Как она встаёт раньше мужа, чтобы сварить ему кофе. Как запоминает, какие рубашки он не любит, и не покупает их. Как молчит, когда он смотрит футбол, хотя ей хочется поговорить. Как двадцать лет подстраивается — под его настроение, под его работу, под его маму, которая её «недолюбливает, но терпит».

Я слушаю. Это моя работа — слушать так, чтобы человек чувствовал: его слышат. Я киваю, задаю вопросы, отражаю чувства. «То есть вы чувствуете, что вас не замечают?» — «Да, именно». — «И это обидно». — «Очень».

— Ольга, — говорю я мягко, но твёрдо, — вы сказали: «Если я перестану быть удобной, он меня разлюбит». Давайте проверим эту мысль. Это факт или предположение?

Она задумывается. Пальцы сильнее сжимают ремешок сумки.

— Ну… предположение. Наверное.

— А какие у вас есть доказательства, что это правда? Что он разлюбит?

— Ну… он же женился на мне такой. Удобной.

— То есть вы вышли замуж за человека, который любит вас за удобство? — Я делаю паузу. — Или вы вышли замуж за человека, который вас любит, а потом вы сами решили, что должны быть удобной, чтобы он не разлюбил?

Ольга молчит. И вдруг усмехается — горько, с вызовом.

— Легко вам говорить, Анна Сергеевна. Вы же не живёте с моим мужем. Если я перестану быть удобной, он просто найдёт себе другую. Молодую, тихую. Ту, которая будет молчать.

— Может быть, — соглашаюсь я. — А может, и нет. Но давайте посмотрим на ваш страх с другой стороны. Вы двадцать лет молчите и подстраиваетесь, чтобы он не ушёл. И что? Вы счастливы?

— Нет, — говорит она тихо.

— Тогда получается, что вы уже платите за этот страх. Каждый день. Своей жизнью. А теперь скажите, Ольга… если бы вы знали наверняка, что он не уйдёт — что бы вы сделали прямо сейчас?

Она смотрит на меня. В её глазах мелькает растерянность.

— Я… я не знаю. Наверное, сказала бы, что устала. Что я больше не могу есть этот суп, который он любит, потому что я его ненавижу.

— И что было бы дальше?

— Он бы обиделся, — говорит она почти шёпотом. — Он бы сказал, что я неблагодарная. Что он для меня всё, а я…

Она замолкает. И вдруг её лицо кривится — как у ребён-

ка, которого долго ругали, а потом неожиданно пожалели. Слёзы текут градом.

— Господи, — шепчет она, прижимая руку ко рту, — я даже суп не могу себе позволить не есть. Двадцать лет. Я же его ненавижу. А он… а он даже не знает.

— Теперь знаете вы, — говорю я тихо.

— И что мне с этим делать? — Она смотрит на меня, и в её глазах — настоящий, животный ужас. — Я же не могу просто взять и всё сломать. У нас же семья. Дети. Двадцать лет.

— Сломать можно по-разному, Ольга. Иногда, чтобы спасти семью, нужно сначала перестать спасать всех вокруг и спасти себя. Вы не обязаны быть удобной. Вы имеете право на «нет». И, возможно, именно этого «нет» вам и не хватало все эти годы.

Она плачет. Тихо, без всхлипов. Я вижу, как ссутулились её плечи, как она перестала теребить ремешок сумки и просто положила руки на колени. Она плачет и дышит — глубоко, с облегчением, словно всё это время держала в груди огромный камень, а теперь его наконец вынули.

— А вы, Анна Сергеевна? — спрашивает она вдруг. — Вы счастливы?

Я улыбаюсь — профессионально, мягко, с лёгкой иронией. Этот вопрос мне задают не впервые. И у меня есть заготовленный ответ.

— Ольга, мы здесь не обо мне говорим. Но если коротко

— я в гармонии с собой.

«В гармонии с собой» — это красивая ложь. На самом деле это значит: я одна, мне сорок два, и я убедила себя, что так и должно быть. Что после развода с мужем, который гулял так, что соседи здоровались с его любовницами по имени, я имею право на тишину. Что тишина — это свобода. Что свобода — это счастье.

Я в это верю. Почти.

После Ольги — ещё две клиентки. Одна с тревожностью, другая с мужем-тираном. К обеду я выжата как лимон и мечтаю только о том, чтобы никто не звонил.

Телефон звонит.

На экране — «Мама». Я смотрю на него три секунды, прежде чем ответить. Мы с мамой любим друг друга, но у нас особые отношения: она считает, что я «слишком много работаю и слишком мало живу», а я считаю, что она «слишком много советует и слишком мало слушает». Обычно мы обе правы.

— Анечка, — говорит мама, и я сразу понимаю: что-то не так. Голос у неё какой-то… тонкий. — Ты можешь говорить?

— Могу. Что случилось?

— Ничего. Просто… я была у врача. Сердце. Он говорит, надо обследоваться. Но это ерунда, я не хочу тебя грузить.

— Мам. — Я сажусь ровнее. — Какой врач? Что именно он сказал?

— Да не помню я. — Она отмахивается, я слышу это по

голосу. — Сказал, что возраст. Что надо беречься. Ты же знаешь, я не люблю этих разговоров.

Я знаю. Мама вообще не любит разговоров о ней. Она любит разговоры обо мне — о том, что я должна «устроить личную жизнь», «не засиживаться в одиночестве», «пока не поздно». Я обычно отвечаю: «Мам, мне сорок два, а не сто». Она вздыхает и говорит: «Вот именно».

— Я приеду на выходных, — говорю я. — Запишу тебя к кардиологу. Хорошему.

— Не надо, Аня. У тебя работа.

— Мам.

— Ладно, — сдаётся она. — Приезжай. Только не по поводу сердца. Просто так. Хорошо?

— Хорошо.

Я кладу трубку и сижу минуту, глядя в окно. За окном февраль — серый, мокрый, скучный. Мама. Сердце. Возраст.

Я не думаю о плохом. Я вообще не из тех, кто думает о плохом заранее. Я психолог — я знаю, что тревога не помогает, а мешает. Я запишу её к врачу, всё проверим, и будет нормально. Всё будет нормально.

Я не знаю, что через год буду вспоминать этот звонок и думать: «Надо было тогда, сразу, а не через выходные».

Вечером — ужин с дочерью. Ксюша приезжает ко мне раз в неделю, по понедельникам. Это её инициатива — она говорит, что «надо видеться, мам, а то мы как чужие». Я по-

дозреваю, что на самом деле она приезжает есть: я хорошо готовлю, а она живёт в общежитии и питается лапшой.

Ксюша учится на втором курсе — журналистика, бюджет, общежитие в десяти минутах от университета. Два года назад она поступила сама, без репетиторов и связей. Отец предлагал ей квартиру — он может, он при деньгах. Она отказалась. Сказала: «Хочу сама». Я тогда чуть не заплакала от гордости. И от страха: она слишком похожа на меня.

Ксюше девятнадцать. Она красивая — высокая, с моими глазами и его, бывшего мужа, упрямым подбородком. Она умная, дерзкая и абсолютно уверена, что знает обо мне больше, чем я сама.

— Мам, — говорит она, уминая пасту, — ты знаешь, что у тебя в квартире ни одной фотографии?

— Знаю.

— И что это значит?

— Что я не люблю фотографии.

— Это значит, что ты не любишь вспоминать. — Она смотрит на меня с видом профессора. — Психология, мам. Твоя тема.

Я усмехаюсь. Ксюша умеет бить в больное — и делает это не со зла, а из любви. Но всё равно больно.

— А ты не думала, — продолжает она, — что пора уже кого-то найти? Ну, не мужа, а так… для жизни. Для настроения.

— Ксюша.

— Что? — Она поднимает брови. — Я же не говорю тебе выходить замуж. Я говорю — попробуй. Тебе сорок два, а не сто.

Я смеюсь. Это моя фраза. Она её украла.

— Ксюш, — говорю я мягко, — у меня всё хорошо. Правда.

— Ага. — Она кивает. — У тебя всё хорошо. Ты работаешь, у тебя есть я, у тебя есть деньги и квартира. Только ты одна. Мам, это не «хорошо». Это «нормально». А ты заслуживаешь «хорошо».

Я молчу. Она права, и я это знаю. Но я также знаю другое. Я помню, как её отец — обаятельный, успешный, с улыбкой на миллион — говорил мне: «Аня, ты слишком много думаешь. Расслабься». А потом я находила в его телефоне сообщения от женщин, которых он называл «просто коллегами». Он никогда не кричал, не бил, не унижал при людях. Он просто обесценивал — тихо, аккуратно, так, что я сама начинала верить, что проблема во мне. «Ты слишком чувствительная». «Ты всё придумываешь». «Я работаю, а ты сидишь дома и скучаешь». Классика. Обаятельный нарцисс, которому все верят, кроме жены.

После развода я поклялась: больше никогда. Никаких мужчин с деньгами и статусом. Никаких обаятельных. Никаких.

Ксюша уезжает в десять. Я мою посуду, выключаю свет, ложусь в кровать. Лежу в темноте и слушаю тишину. Краси-

вую, дорогую, мою.

И вдруг ни с того ни с сего я вспоминаю упражнение, которое даю клиенткам, — «колесо баланса». Рисуешь круг, делишь на сектора: работа, деньги, семья, друзья, здоровье, любовь, хобби, развитие. Ставишь оценку от одного до десяти. И смотришь, где провал.

Я мысленно рисую. Работа — девять. Деньги — девять. Семья — семь (мама, Ксюша). Друзья — шесть. Здоровье — семь. Хобби — пять. Развитие — восемь. Любовь — ноль.

Ноль.

Я открываю глаза и смотрю в потолок. Ноль — это не «плохо». Это «пусто». Это сектор, который я сама обвела жирным и сказала себе: «Не нужен».

«Ты заслуживаешь хорошо», — говорит Ксюша.

«Ты устала быть удобной», — говорит Ольга.

«Сердце», — говорит мама.

«Любовь — ноль», — говорит колесо баланса.

Я закрываю глаза и засыпаю.

Утром я открываю блокнот, чтобы записать план на день, и натыкаюсь на вчерашнюю запись.

«Я устала быть удобной».

Я смотрю на неё долго. Потом беру ручку и подчёркиваю. Один раз. Потом — второй.

И закрываю блокнот.

ГЛАВА 2. «Ночная смена»

Максим

Меня зовут Максим. Я работаю фельдшером на скорой. Это не значит, что я герой. Это значит, что я не умею проходить мимо.

Ночная смена начинается в восемь вечера и заканчивается в восемь утра. Если повезёт. Если не повезёт — заканчивается, когда закончится. Сегодня нам везёт: два вызова за первые четыре часа. Один — бабушка с давлением, второй — парень, который решил, что может перепить всех на дне рождения. Бабушку мы стабилизируем, парня везём в наркологию. Он поёт «Владимирский централ» и называет меня «командир».

— Командир, — говорит он, — а ты меня уважаешь?

— Уважаю, — говорю я. — Особенно твою способность держаться на ногах.

Он смеётся и снова заводит песню. Напарник, дядя Витя, смотрит на меня и качает головой:

— Макс, ты слишком добрый. Тебя это когда-нибудь убьёт.

— Меня убьёт что-то другое, — говорю я. — Например, твоё вождение.

Дядя Витя — ему пятьдесят два, он пятнадцать лет на скорой, видел всё, что можно увидеть, и ещё немного. Он циник, но добрый. Говорит, что цинизм — это профессиональная защита. Я говорю, что это просто характер. Он не обижается.

— Мы с тобой пятнадцать лет вместе на скорой, — говорит он иногда, — я уже двоих детей имел и ипотеку. А ты всё по съёмным углам.

— Зато я свободен, — говорю я.

— Свободен он, — ворчит дядя Витя. — Свобода — это когда есть кому подать стакан воды. А у тебя даже кота нет.

Я не спорю. Он прав. Но правда в том, что я не хочу ипотеку. Не хочу детей. Не хочу «как у людей». Я хочу… я не знаю, чего я хочу. И это, наверное, самая честная формулировка.

Подстанция у нас старая, но своя. Диван в комнате отдыха продавлен так, что сидеть на нём можно только в позе «эмбрион». Чайник не выключается сам, его надо караулить. Но здесь тепло, и здесь никто не задаёт лишних вопросов. Это важно.

В перерыве я достаю телефон. На экране — три сообщения. Два от неё. Одно от банка.

Я открываю от неё. Первое: «Ты разрушил мне жизнь». Второе: «Я знаю, ты читаешь. Ответь». Я не отвечаю. Кладу телефон экраном вниз.

— Опять она? — спрашивает дядя Витя, не поднимая глаз от газеты.

— Опять.

— Макс. — Он откладывает газету. — Я тебе это уже говорил, но скажу ещё раз. Ты не обязан отвечать. Ты не обязан спасать её. Ты уже пытался. Ты ушёл. Это было правильно.

— Я знаю.

— Знает он, — ворчит дядя Витя. — Знает он. А сам телефон в карман кладёт, как будто там бомба.

Я не отвечаю. Потому что он прав. Потому что я до сих пор не могу выбросить этот телефон. Потому что где-то в глубине, в самом тёмном углу, я всё ещё чувствую вину. За то, что ушёл. За то, что не смог. За то, что не спас.

Дядя Витя возвращается к газете. Я выхожу на крыльцо подышать воздухом. Февраль, холод, снег с дождём. Я стою в куртке нараспашку и смотрю на город. Город смотрит на меня. Мы друг друга не любим, но терпим.

В три часа ночи — вызов. Женщина, сорок пять, боль в груди. Адрес — обычная пятиэтажка. Мы приезжаем за семь минут. Дверь открывает муж — испуганный, в тапках, с телефоном в руке. «Она на кухне, — говорит он. — Я не знаю, что делать».

Она сидит на полу, прислонившись спиной к холодильнику. Бледная, губы синие, дышит часто. Я сажусь рядом, беру её за руку.

— Меня зовут Максим, — говорю я. — Я фельдшер. Сейчас мы с вами немного повоюем. Как вас зовут?

— Валя, — выдыхает она.

— Валя, вы когда-нибудь пили таблетки от давления?

— Иногда, — выдыхает она. — Когда совсем припечёт. Я их не люблю. От них голова как ватная. Муж смеётся: «Ты и

так как варёная». — Она слабо улыбается, но губы дрожат.

— А сегодня пили?

— С утра болела. Я хотела выпить, но у меня пирог в духовке стоял. Внук завтра приезжает, я ему с вишней обещала. Думала, сейчас достану пирог, потом таблетку выпью. А потом как-то… поплыло всё.

— Думали, пройдёт? — спрашиваю я.

— Думала, — шепчет она. — Я всегда думаю, что само пройдёт. А оно вон как…

Я киваю. Я слышал это тысячу раз. «Думала, пройдёт». «Не хотела беспокоить». «Может, само». Люди боятся врачей, боятся диагнозов. Но чаще всего они боятся, что их жизнь изменится. Они ждут до последнего. А потом звонят нам.

Мы с дядей Витей работаем быстро и молча. Я достаю кардиограф. Валя смотрит на меня, и в её глазах — тот самый животный страх, который я видел сотни раз.

— Валя, слушайте меня, — говорю я, приклеивая электроды. — Сейчас мы снимем кардиограмму. Это не больно. Просто лежите и дышите. Поняли?

Она кивает. Плёнка выползает из аппарата. Я смотрю на ленту и чувствую, как внутри всё сжимается: подъём сегмен-

та ST в двух отведениях. Это не просто «плохо». Это инфаркт.

— Дядя Вить, — говорю я тихо, — ОКС с подъёмом. Готовь нитроглицерин и аспирин. И вызови кардиологию, пусть готовятся.

Он кивает. Я поворачиваюсь к Вале.

— Валя, у вас инфаркт. Мы сейчас дадим вам таблетки, чтобы стало легче, и повезём в больницу. Вы меня слышите?

— Слышу, — шепчет она. — А муж? Он со мной поедет?

— Поедет, — говорю я, хотя знаю, что в машине места мало. Но сейчас важно, чтобы она не паниковала.

Я даю ей разжевать аспирин. Потом — нитроглицерин под язык. Проверяю давление: сто десять на семьдесят. Можно. Если бы было ниже сотни, я бы не рискнул.

Дядя Витя уже ставит капельницу — нитроглицерин на физрастворе, медленно, по капле. Я стою рядом и смотрю на монитор. Давление держится. Пульс сто десять. Пока терпимо.

Муж стоит в дверях — бледный, испуганный, в тапках на босу ногу. Я сказал ему не курить, но он всё равно смолит одну за другой, и пепел падает на линолеум.

— Серёжа, — хрипит Валя, поворачивая голову, — ну прекрати ты. Доктор сказал.

— Я не курю, — врёт он, торопливо туша сигарету. — Я так… дышу.

— Врёт, — выдыхает Валя, и в её глазах на секунду появ-

ляется насмешка. — Всю жизнь врёт. Как я его терплю — не знаю.

Я не сдерживаю улыбку. Она смотрит на меня, как будто я — бог. Я не бог. Я просто парень, который знает, что делать, когда кому-то плохо.

Когда мы везём её в больницу, она держит меня за руку и говорит:

— Спасибо, Максим.

— Не за что, Валя. Выздоравливайте.

— А вы… вы всегда такой?

— Какой?

— Спокойный.

Я улыбаюсь.

— Это не спокойствие. Это работа.

Она улыбается в ответ — слабо, но искренне. И я чувствую то, что чувствую всегда после таких вызовов: тихую, странную радость. Я кому-то помог. Я был нужен. Я справился.

Это чувство — единственное, что держит меня на этой работе. И, наверное, в жизни.

Возвращаюсь домой в девять утра. Устал так, что даже мысли не идут. Квартира съёмная — однушка в панельке, без ремонта, но чисто. Я снимаю куртку, ботинки, прохожу на кухню, ставлю чайник. Смотрю на телефон.

Опять она. «Ты не отвечаешь. Я так и знала. Ты всегда так делал. Ты всегда уходил, когда было трудно».

Я смотрю на эту фразу и чувствую, как внутри что-то сжимается. «Ты всегда уходил, когда было трудно». Это неправда. Я уходил, когда было невозможно. Когда я понял, что не могу спасти её, потому что она не хочет спасаться. Когда я понял, что тону вместе с ней.

Но она права в одном: я ушёл. И это чувство вины я несу с собой. Как будто я бросил человека в горящем доме. Хотя на самом деле это она подожгла дом, а я пытался вытащить её. И себя.

Я наливаю чай, сажусь за стол. За окном уже светло. Город просыпается, идёт на работу, ругается на пробки. А я сижу на кухне, пью чай и думаю о том, что у меня нет никого. Кроме дяди Вити, который циник. Кроме соседки, которая просит помочь с продуктами. Кроме её — которая пишет мне сообщения и не отпускает.

И тут звонок в дверь.

Я открываю. На пороге — соседка, баба Зина, семьдесят восемь лет, с авоськой. У неё давление, и она это знает. Она всегда это знает.

— Максимка, — говорит она, — ты не спишь?

— Уже нет, — говорю я. — Проходите.

Она проходит, садится на табуретку, и я измеряю ей давление. Сто восемьдесят на сто. Высокое. Она пьёт таблетку, откидывается на спинку стула, и буквально через минуту её лицо приобретает хитрый, почти ленинский прищур. Глаза становятся узкими, а в уголках губ прячется заговорщицкая

улыбка.

— Ты вот что, Максимка, — говорит она, понизив голос до заговорщицкого шёпота, — Настя моя завтра приезжает. Внучка. Пирожки с вишней привезёт.

— Зинаида Павловна…

— Ты дай сказать! — Она поднимает сухую руку. — Она у меня в красной вязаной шапочке ходит. Ты её из окна сразу узнаешь. Девка видная, хозяйственная. Не то что эти твои… — Она неопределённо машет рукой в сторону улицы, намекая на всех женщин города сразу. — А борщ как варит! Закачаешься.

Я смотрю на неё с подозрением. Какая красная шапочка? Какое окно? Бабушкин прищур становится ещё хитрее.

(В голове мелькает дурацкая мысль: если она сейчас предложит мне надеть чепчик и спросит, почему у меня такие большие уши?)

— Зинаида Павловна, вы это специально, да? — спрашиваю я. — Хотите, чтобы я её из окна увидел?

— А тебе-то что? — Она невинно хлопает ресницами. — Ты спишь вечно. Может, хоть на красное пятно выглянешь.

Я устало тру переносицу. Спать хочется так, что глаза слипаются, а тут ещё бабушкин брачный агент нарисовался.

— Зинаида Павловна, я с ночной смены. Я сейчас упаду и усну.

— А ты после сна и приходи! — не сдаётся она.

— Я не могу завтра. У меня смена.

— Ой, да что ты мне заливаешь! — Она шутливо хлопает меня по плечу. — Все вы так говорите, пока свою красную шапочку не встретите.

— Всё, вам нельзя волноваться, — напоминаю я, стараясь сохранить серьёзное лицо. — Посидите минут десять, давление проверю, и идите. И таблетки пейте. Каждый день.

Она уходит через полчаса, я закрываю за ней дверь, прислоняюсь к ней спиной и стою минуту. Потом иду в спальню.

Телефон вибрирует. Я не открываю глаза. Я знаю, что там. «Ты разрушил мне жизнь». Или что-то в этом роде.

Я засыпаю. И во сне я снова на вызове. Только на этот раз пациент — я сам. И никто не приезжает. И это, самое честное, что я могу сказать о своей жизни.

ГЛАВА 3. «Вызов»

Анна

Маме стало плохо в четверг.

Я звоню ей каждый вечер — ритуал, который мы обе соблюдаем, хотя никогда не признаемся, что это ритуал. Обычно она берёт трубку после второго гудка и говорит: «Анечка, всё хорошо, не волнуйся». Сегодня она не взяла после пятого. После десятого. После пятнадцатого я уже набирала номер скорой.

— Мама, — говорю я, когда она наконец берёт трубку. Голос у неё слабый, далёкий. — Что случилось?

— Ничего, — выдыхает она. — Просто… голова закружилась. Я сидела, потом встала — и всё поплыло.

— Ты измеряла давление?

— Не успела. Я… я на полу, Аня.

Я уже стою в прихожей, натягиваю пальто. Ключи, телефон, сумка. Всё автоматически.

— Я еду. Сейчас. Не вставай. Слышишь? Не вставай.

— Аня, не надо…

— Мама. Не вставай.

Мама живёт в двух остановках от меня. Обычно я дохожу за пятнадцать минут. Сегодня я добираюсь за десять, но эти десять минут кажутся вечностью. Я вхожу в подъезд, поднимаюсь на четвёртый этаж, открываю дверь своим ключом.

Мама на кухне, на полу, прислонилась к холодильнику. Бледная, губы синие. Рядом — перевёрнутая чашка, лужа чая.

— Анечка, — говорит она и пытается улыбнуться, — ну вот, я тебя напугала.

Я падаю на колени рядом с ней, достаю телефон. Пальцы дрожат, я попадаю по экрану не с первого раза. Вызываю скорую. Говорю адрес, говорю «пожилая женщина, гипертония, возможен криз». Диспетчер отвечает спокойно: «Ждите, бригада выехала».

Я беру маму за руку. Рука холодная, пульс частый.

— Молчи, — говорю я. — Скорая уже едет.

— Не надо было…

— Мама. Молчи.

Она молчит. Я держу её за руку и смотрю на часы. Двенадцать минут. Потом — звонок в дверь.

Я открываю. На пороге — двое: мужчина в форме скорой, лет тридцати пяти, и второй, постарше, с усами и усталыми глазами. Мужчина в форме смотрит на меня быстро, цепко, словно меня сканирует. У него серые глаза, короткая стрижка и руки — большие, спокойные, с коротко остриженными ногтями.

— Где она? — спрашивает он.

— На кухне.

Он проходит мимо меня, не спрашивая больше ничего. Второй, с усами, остаётся в прихожей, ставит сумку на пол и говорит:

— Не волнуйтесь. Он у нас лучший.

Я не знаю, зачем он это говорит. Может, чтобы успокоить. Может, просто привычка. Но я почему-то верю.

На кухне мужчина в форме уже сидит на корточках рядом с мамой. Берёт её за запястье, считает пульс. Говорит негромко, спокойно:

— Валентина Петровна, я сейчас давление измерю. Вы не против?

Мама кивает. Он достаёт тонометр, закрепляет манжету. Сто девяносто на сто десять.

— Так, — говорит он. — Будем снижать. Укол поставим, хорошо? Не бойтесь, это быстро.

— А вы… вы молодой совсем, — говорит мама, и я слышу в её голосе ту самую интонацию, с которой она обычно говорит: «Анечка, а почему ты ещё не замужем?»

— Молодой, — соглашается он. — Но опытный. Не сомневайтесь.

Он ставит укол. Мама морщится, потом расслабляется. Давление начинает падать. Он ещё несколько минут сидит с ней, говорит о чём-то простом — о погоде, о том, что февраль в этом году холодный, о том, что надо пить таблетки, а не «думать, что пройдёт». Мама кивает и смотрит на него с благодарностью.

Я стою в дверях и чувствую себя лишней. Это странно. Это моя мама, моя квартира, моя жизнь. Но в этот момент здесь главный — он. И я не знаю, что с этим делать.

Он встаёт.

— Ну всё, Валентина Петровна. Сейчас давление в норме. Но я бы рекомендовал вам завтра показаться кардиологу. Хорошему. — Он смотрит на меня. — Вы проследите?

— Да, — говорю я. — Спасибо.

Он кивает. И тут его взгляд останавливается на мне — по-настоящему, не мельком. Он смотрит на моё пальто, на сумку, на часы. Потом — на мои глаза. И говорит:

— Вы, наверное, тоже не спали. Вам бы тоже отдохнуть.

Я не знаю, что ответить. Это не флирт. Это не сочувствие. Это просто констатация факта. Но почему-то от его слов у меня внутри что-то дёргается.

— Я в порядке, — говорю я.

— Ну да. — Он усмехается. — Все всегда в порядке.

Он уходит. Второй, с усами, подхватывает сумку, кивает мне на прощание и говорит:

— Выздоравливайте, Валентина Петровна.

Дверь закрывается. Я стою и смотрю на неё. Мама за моей спиной говорит:

— Хороший мальчик. Молодой, но хороший.

— Мам.

— Что? Я просто говорю.

Я закрываю дверь и иду на кухню. На полу — всё ещё лужа чая. Я беру тряпку и вытираю. И почему-то думаю о его руках. О том, как он держал мамину руку. О том, как сказал: «Молодой, но опытный. Не сомневайтесь».

«Молодой», — сказала мама. Да. Молодой. Лет тридцать пять, не больше. Моложе меня.

Я выбрасываю тряпку в мусорку и иду спать. Но сон не идёт. Я лежу в темноте и смотрю в потолок. И думаю: «Глупость какая».

Максим

Вызов был простой. Пожилая женщина, гипертония, возможен криз. Мы с дядей Витей ехали молча — он за рулём, я на месте рядом. Двенадцать минут — и мы на месте.

Дверь открывает женщина. Первое, что я замечаю: она не

суетится. Не плачет, не кричит «быстрее, быстрее», не хватает меня за рукав. Она просто стоит — прямая, в пальто, с сумкой на плече, — и говорит: «На кухне». Голос ровный, но глаза выдают. У неё глаза человека, который уже давно всё контролирует и боится, что сейчас не получится.

Я прохожу мимо. Она идёт следом, на расстоянии. Я чувствую её взгляд — цепкий, оценивающий. Она смотрит на меня, пытаясь понять, справлюсь ли я. Это нормально. Люди всегда так смотрят.

Женщина сидит на полу. Я сажусь рядом, беру за руку. Рука холодная, пульс частый. Говорю:

— Валентина Петровна, я сейчас давление измерю. Вы не против?

Она кивает. Я закрепляю манжету. Сто девяносто на сто десять. Плохо, но не критично. Я ставлю укол, говорю, что всё будет хорошо. Она улыбается — слабо, но искренне. Говорит:

— А вы молодой совсем.

— Молодой, — соглашаюсь я. — Но опытный. Не сомневайтесь.

Она смеётся тихо. Я вижу, как за спиной стоит дочь. Не перебивает. Не торопит. Просто слушает. И это что-то меняет. Обычно родственники суетятся, задают вопросы, мешают. А она стоит и молчит. Как будто доверяет.

Когда я встаю, чтобы уходить, я наконец смотрю на неё — по-настоящему. Пальто хорошее, дорогое. Сумка кожаная,

не наша, не с рынка. Часы на запястье — простые, но явно не дешёвые. Устала. Под глазами тени, губы сжаты. Красивая. Но не той красотой, которую показывают в журналах. Другая. Взрослая. Настоящая.

И старше меня. Это видно. Не по морщинам — их почти нет. По глазам. По тому, как она стоит. По тому, как смотрит.

— Вы, наверное, тоже не спали, — говорю я. — Вам бы тоже отдохнуть.

Она отвечает: «Я в порядке». И я усмехаюсь. Потому что слышал это тысячу раз. От пациентов, от коллег, от себя самого.

— Ну да, — говорю я. — Все всегда в порядке.

Она не улыбается. Но что-то в её лице меняется. Мне даже показалось, что она услышала не то, что я сказал, а то, что я не сказал.

Я ухожу. Дядя Витя ждёт в машине.

— Ну что? — спрашивает он.

— Всё нормально. Давление стабилизировали.

— А дочь её? — Он заводит двигатель. — Видел?

— Видел.

— Красивая?

— Дядя Вить!

— Что? Я просто спросил.

Я смотрю в окно. Зима, снег, серые дома. И вдруг ни с того ни с сего думаю: а ведь она даже имени моего не спросила. И я не спросил её. Странно. Обычно люди спрашивают. А

тут — как оба забыли.

— Поехали, — говорю я. — Ещё вызовы будут.

Дядя Витя кивает и трогается. А я ещё минуту думаю о ней. О женщине в пальто, которая стояла в дверях и смотрела на меня так, как будто я был загадкой, которую она не собиралась разгадывать.

Забавно. Я тоже не собирался.

ГЛАВА 4. «Кофе»

Анна

Через три дня я зашла в кафе на углу. Обычно я не хожу в кафе — я пью кофе в кабинете, из своей кружки, между клиентами. Но в тот день у меня был перерыв в два часа, и я решила, что имею право на чашку хорошего кофе и десять минут тишины.

Он сидел у окна. Я увидела его сразу — серую куртку, короткую стрижку, руки, которые я почему-то узнала раньше, чем лицо. Он читал что-то в телефоне и не смотрел по сторонам. Я могла бы пройти мимо. Могла бы сделать вид, что не заметила. Но я почему-то остановилась.

Он поднял глаза. И улыбнулся — не широко, не приветливо, а как-то по-своему, будто мы уже были знакомы сто лет.

— Вы та самая дочь, которая чуть не поседела? — спросил он.

Я не сразу поняла, что он имеет в виду. Потом вспомнила:

мама, скорая, четверг.

— Я не седая, — сказала я. — Я просто устала.

— Это одно и то же. — Он кивнул на стул напротив. — Присаживайтесь. Я угощаю.

Я села. Не потому, что хотела. Потому что было интересно. И потому что он сказал это так просто, без нажима, без флирта, что отказаться было бы странно.

— Меня зовут Максим, — сказал он. — Мы не познакомились тогда.

— Анна.

— Анна, — повторил он. — Красивое имя. Простое. Не какое-нибудь там «Анжелика».

Я усмехнулась.

— А что не так с Анжеликой?

— Слишком много пафоса. А в вас пафоса нет.

— Вы это по одному взгляду определили?

— Я фельдшер. Я по взгляду определяю, кто сейчас умрёт, а кто просто хочет внимания.

Я засмеялась. Неожиданно для себя. Громко, не сдержавшись. Он посмотрел на меня и тоже улыбнулся — уже по-другому, теплее.

— Ну вот, — сказал он. — Уже лучше.

— Что лучше?

— Вы перестали быть «успешной женщиной в пальто». Стали просто Анной.

Я замолчала. Потому что он попал в точку. Я всю жизнь

играю роль — успешной, самодостаточной, «в гармонии с собой». А он увидел это за две минуты.

— Вы всегда так говорите? — спросила я.

— Как?

— Прямо.

— А зачем ходить вокруг да около? Время. Его мало.

Мы проговорили полтора часа. Я не заметила, как прошло время. Он рассказывал о работе — смешные истории, страшные истории, обычные. Я рассказывала о клиентах — без имён, без деталей, просто о том, как люди иногда боятся говорить правду. Он слушал. Не перебивал. Не давал советов. Просто слушал.

— А вы, — спросил он вдруг, — почему одна?

Я не обиделась. Вопрос был не праздный. Он спрашивал не «почему ты одна», а «почему ты выбрала быть одна».

— Потому что так спокойнее, — сказала я.

— Спокойнее — это не всегда лучше.

— А вы? — Я перевела тему. — Почему один?

Он помолчал. Потом сказал:

— Потому что я ушёл. Оттуда, где было плохо. И пока не жалею.

Я не стала спрашивать, откуда он ушёл. Было видно, что это больно. И я, как психолог, знаю: если человек не хочет говорить, не надо тянуть.

Мы вышли из кафе вместе. На улице было холодно, хрустел снег под ногами. Он шёл рядом и молчал. Я тоже мол-

чала. И это было странно — молчать с человеком, которого знаешь два часа, и чувствовать себя так, будто знаешь его два года.

— Вам в какую сторону? — спросил он.

— Вон туда. Два квартала.

— Я провожу.

Мы шли медленно. Он не пытался взять меня за руку, не придвигался, не делал ничего такого. Просто шёл рядом. И я почему-то думала: а ведь я давно так не шла. Просто так. С мужчиной. Без плана.

У моего подъезда он остановился.

— Ну вот, — сказал он. — Дошли.

— Спасибо. — Я полезла в сумку за ключами. — И за кофе тоже.

— Не за что.

Я стояла и не уходила. И он не уходил. И это было глупо, потому что февраль, холод, и мы взрослые люди, и вообще.

— Анна, — сказал он тихо.

— Да?

— Я хочу вас поцеловать. Но не буду. Потому что вы сейчас думаете, что это глупо, и что я молодой, и что вам это не нужно. А я не хочу, чтобы вы потом жалели.

Я смотрела на него и понимала: он прав. Я именно это и думала. Но ещё я думала о том, что никто и никогда не говорил мне таких слов.

— Я не жалею, — сказала я.

— Что?

— О том, что думаю. Я не жалею. Я просто… не знаю, что с этим делать.

Он улыбнулся. И шагнул ко мне. Медленно, так, чтобы я могла отступить. Я не отступила.

Он поцеловал меня — осторожно, будто пробуя на вкус. И у меня внутри что-то перевернулось. Не от страсти. От нежности. От того, как он держал меня за плечи — не крепко, но так, что я чувствовала: он здесь. Со мной. Сейчас.

— Может, подниметесь? — спросила я. И сама удивилась, как легко это прозвучало.

Он посмотрел на меня. Долго. Потом кивнул.

Мы не дошли до спальни. Остановились в прихожей — я прислонилась к стене, он стоял рядом, и его руки были везде: на моей талии, на спине, в волосах. Он целовал меня медленно, не торопился. Как будто у нас была целая жизнь впереди.

— Ты уверена? — спросил он.

— Замолчи, — сказала я.

Он засмеялся — тихо, мне в шею. И от этого смеха у меня подкосились ноги.

Мы всё-таки дошли до спальни. И там я впервые за долгое время почувствовала себя не «успешной женщиной», не «психологом», не «мамой». Я почувствовала себя женщиной. Просто женщиной. С мужчиной, который смотрел на меня так, будто я была чем-то невероятным.

Он не спешил. Он делал всё так, будто читал меня — где

нажать, где подождать, где просто замереть и дышать вместе. Я забыла о том, что мне сорок два. Забыла о том, что он моложе. Забыла о том, что завтра будет завтра. Было только сейчас — его руки, его губы, его дыхание, моё имя, которое он повторял шёпотом.

Потом мы лежали в темноте. Он держал меня за руку — просто за руку, как подросток. И молчал.

— Ты не жалеешь? — спросила я.

— О чём?

— О том, что остался.

Он повернул голову. Посмотрел на меня. Долго, без улыбки.

— Нет, — сказал он просто. — Не жалею.

И это «нет» было таким твёрдым, таким спокойным, что я вдруг поняла: он не из тех, кто жалеет. Он из тех, кто решает — и идёт до конца. А я… я всю жизнь решала, что мне это не нужно. Что я самодостаточна. Что тишина — это свобода.

Я смотрела в потолок и думала: а ведь я впервые за долгое время не хочу, чтобы он уходил. И это было страшнее, чем всё остальное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.